

БОРИС СЛУЦКИЙ

СРОКИ

БОРИС СЛУЦНИЙ

СРОКИ

**Стихи
разных
лет**

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1984**

Слуцкий Б. А.

**С 49 Сроки: Стихи.— М.: Советский писатель,
1984.— 104 с.**

Новую книгу известного советского поэта Бориса Слуцкого составили стихотворения, написанные в разные годы, но не входившие в его прежние сборники.

4702010200—223

С—————223—84

P2

083(02)—84

Художник Александр ЛАВРЕНТЬЕВ

**Книга иллюстрирована рисунками
Александра РОДЧЕНКО**

СОН ОБ ОТЦЕ

Засыпаю только лицом к стене,
потому что сон — это образ конца
или, как теперь говорят, модель.
Что мне этой ночью приснится во сне?
Загадаю сегодня увидеть отца,
чтобы он с газетою в кресле сидел.

Он, устроивший с большим трудом
дом,
тянувший семью, поднявший детей,
обучивший как следует нас троих,
думал, видимо:
мир — это тоже дом,
от газеты требовал добрых вестей,
горько сетовал, что не хватает их.

«Непорядок», — думал отец. Иногда
даже произносил: — Непорядок! — он.
До сих пор в ушах это слово отца.
Мировая — ему казалось — беда
оттого, что каждый хороший закон
соблюдается,
но не совсем до конца.

Он не верил в хаос,
он думал, что
бережливость, трезвость, спокойный тон
мировое зло убьют наповал,
и поэтому он лицевал пальто
сперва справа налево, а потом
слева направо его лицевал.

Он с работы пришел.
Вот он в кресле сидит.

СТОЛЬКО ЛЕТ НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ

Ну как у тебя сложилось
за эти тридцать годов?
Ведь мы с тобой не видались
с конца тридцатых годов.

Скажи, ты здоров ли, болен?
А выглядишь ты ничего.
Доволен ли, не доволен?
Не говори ничего.

Из нашего класса в школе
кого-нибудь ты встречал?
Ведь мы расстались вскоре
после самых начал.

А в Харькове ты бываешь?
А мне не пришлось бывать.
Как все легко забываешь!
А надо ли забывать?

А как жена, дети, внуки?
Ах, нет, извини, прости.
Скажи, какие науки
пришлось тебе превзойти?

Какие выводы сделал?
Какой ты оставил след?
А я-то все больше бегал,
без малого тридцать лет.

Какие большие числа —
без малого тридцать лет.
А я? Чему научился
за эти тридцать лет?

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НЕУДАЧА

Крепко надеясь на неудачу,
на неуспех, на не как у всех,
я не беру мелкую сдачу
и позволяю едкий смех.

Крепко веря в послезавтра,
твердо помню позавчера.
Я не унижусь до азарта:
это еще небольшая игра.

А вы играли в большие игры,
когда на компасах пляшут иглы,
когда соборы, словно заборы,
падают, капителями пыля,
и полем,
 ровным, как для футбола,
становится городская земля?

А вы играли в сорокаградусный
мороз в пехоту, вжатую в лед,
и крик комиссара, нервный и радостный:
— За Родину!..
Вперед!

Охотники, рыбаки, бродяги,
творческие командировщики
 с подвешенным языком,
а вы тянули ваши бодяги
не перед залом — перед полком?

В САМОМ КОНЦЕ ВОЙНЫ

Смерть стояла третьей лишней
рядом с каждым двумя
или же четвертой лишней
рядом с каждым тремя.

До чего к ней все привыкли?
До того к ней все привыкли,
что, когда она ушла,
я сказал: «Ну и дела!

Что же буду делать я
без нее, в углу молчащей,
заходящей в гости чаще,
чем родные и друзья?»

Угол пуст. Ответа нет.
Буду жить теперь иначе,
в этом мире что-то знача,
даже если смерти нет.

В бытии себя упроча,
надо вверх идти, вперед,
хоть со смертью было проще,
было менее забот.

ДАВАЙ ПОЙДЕМ ВДВОЕМ

Уже давным-давно,
в сраженье ежедневном,
то радостном, то гневном,
мы были заодно:

делили пополам
все то, что получали,
удачи и печали,
прогулки по полям,

победы, и посты,
и зорьку, что алела.
Как у меня болело,
когда болела ты!

Все на двоих! Обид
и тех мы не дробили.
Меня словно избили,
когда тебя знобит.

Смущаясь и любя,
без суеты и фальши,
я вновь зову тебя:
пойдем со мною дальше!

МЛАДШИМ ТОВАРИЦАМ

Я вам помогал
и заемных не требовал писем.
Летите, товарищи,
к вами умышленным высям,
езжайте, товарищи,
к вами придуманным далям,
с тем голодом дивным,
которым лишь юный снедаем.

Я вам переплачивал,
грош ваш рублем называя.
Вы знали и брали,
в момент таковой не зевая.
Момент не упущен,
и вечность сквозь вас просквозила,
как солнечный луч
сквозь стекляшку витрин магазина.

Мне не все равно,
что из этого вышло.
Крутилось кино,
и закона вертелось дышло,
но этот обвал
обвалился от малого камня,
который столкнул
я своими руками.

жилы

**Мы разрабатывали
жилы.
Они выматывали
жилы.**

**Они все силы
нам выматывали,
те жилы,
что мы разрабатывали.**

**Другие, верно, есть профессии,
иные, легкие пути.
Наверно, и в самой поэзии
мы не туда могли пойти.**

**Но наша бедная руда
металлы редкие давала,
любого стоила труда,
с любовью в сердце пребывала.**

**И ежели не мы, то кто?
И если не сейчас, когда же?
Почти что лунные пейзажи
показывались нам зато.**

ЛЮБИМАЯ ОБИДА

Старые обиды не стареют.
Ты стареешь, но обида — нет.
Снова потихоньку душу греет,
полегоньку, словно звездный свет.

Не сноситься ей, не прохудиться!
До конца судиться и рядиться,
до смерти качать права
она,
старая и слабая,
должна.

Не подвержена нисколько хворости
и не уставая от труда,
не имея паспортного возраста,
старая обида — молода!

Кулаком слабеющим машу,—
верно, недругу не быть им битую,—
восхищенные стихи пишу
про свою любимую обиду.

НЕСМОТЯ НИ НА ЧТО

Восхищаюсь слепцом,
что находит свой бой ежедневный,
направляясь чутьем,
как находит олень водопой,
и, встречаясь со взглядом,
я вижу — и гордый и гневный,
но совсем не слепой.

Восхищаюсь хромающим,
ногу свою волочащим,
на лице его — боли
холодный мучительный пот.
Тем не менее он
перед всем стадионом кричащим
ленту финиша рвет.

Восхищаюсь больными,
что делают все наравне
со здоровыми.
Молча глотают таблетку,
сотрясенную кашлем
грудную гудящую клетку
успокаивая в стороне.

И больной не больной,
если он на болезнь не пеняет,
и старик не старик,
если справки он всем не сует,
но обычную норму
перевыполняет
и сверх плана дает.

Мой батальон — четыреста парней,
выпускников училища пехотного,—
мне подчинялся бодро и охотно.

Я не видал толковей и верней
солдат,
 чем эти вот десятиклассники,
которым оставалось десять дней
до смерти, той, что будущие классики
изобразят красивей и верней.

По должности я сводки им читал.
По дружбе — то, что помнил из отечественной
поэзии (ведь на войне Отечественной
стих русский неуклонно расцветал).

Какие комсомольские собрания
в те десять дней я провести успел!
Какие песни пел близ поля брани
мой батальон!
Какие песни пел!
Какую стенгазету мы повесили
в районе боя,
посреди войны!
Четыреста курсантов бодро, весело
ее читали, сгрудясь у стены.

Соображая, как случилось это:
мы победили, немцы — проиграли,—
я вспоминаю комсомольское собрание,
и синий дым трофейных папирос,
и на повестке дня один вопрос —
о том, что каждый сделал для победы.

КОМАНДИРЫ

Дождь дождал — не переставая,
а потом был мороз — жесток,
и продрогла передовая,
и прозябла передовая,
отступающая на восток.
Все же радовались по временам:
им-то ведь
холодней, чем нам.

Отступление бегством не стало,
не дошло до предела беды.
Были ровны и тверды ряды,
и, как солнце, оружие блистало,
и размеренно, правда, устало,
ратные
продолжались
труды.

А ответственный за отступление,
главный по отступленью, большой
чин, в том мерном попятном стремленьи
все старался исполнить с душой:
ни неряшливости,
ни лени.

Истерия взрывала колонны.
Слухи вслед за походом ползли,
кто-то падал на хладное лоно
не выдавшей
такое
земли

и катался в грязи и пыли,
нестерпимо и исступленно.

Безответственным напоминая
об ответственности, о суде,

бога или же мать поминая,
шла колонна,
трусов сминая,
близ несчастья,
вдоль по беде.

Вспоминаю и разумею,
что без тех осенних дождей
и угрюмых ротных вождей
не сумел бы
того, что умею,
не дошел бы,
куда дошел,
не нашел бы
то, что нашел.



• • •

А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько.
Она скрипит, как инвалиду — койка.
Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.

А до войны? Да, юность, пустяки.
А после? После — перезрелость, старость.
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки.

Война? Она запомнилась по дням.
Все прочее? Оно — по пятилеткам.
Война ударом сабли метким
навсегда развалила сердце нам.

Все прочее же? Было ли оно?
И я гляжу неузнающим взглядом.
Мое вчера прошло уже давно.
Моя война еще стреляет рядом.

Конечно, это срыв, и перебор,
и крик
и остается между нами.
Но все-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.

ДОМОЯ!

Расходимся по домам,
застрявшие на рубеже.
Все те, кто нас поднимал,
давно разошлись уже.

Они разошлись давно —
кто как, кто мог, кто куда.
Им так теперь все равно!
Беда им уже — не беда!

Когда-то было легко
уйти из домов поутру,
но это столь далеко,
что слова не подберу.

Теперь легко молодым —
пора веселых ребят,
и то, что нам неподым,
теперь молодым впопад.

Подобно черным дымам,
летающим по городам,
расходимся по домам,
расходимся по домам.

ОТБОР ПО УДВОЕННОСТИ

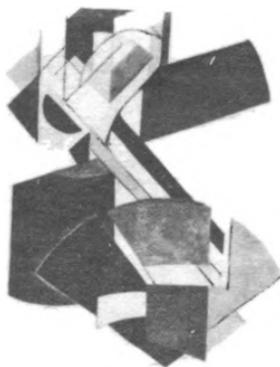
Николай Николаевич Асеев
вспоминал в упоении:
«Обратите внимание
на прекрасное удвоение,
что присуще всей нашей компании.
Маяковский
Владимир Владимирович,
Каменский
Василий Васильевич,
Бурлюк
Давид Давидович,
я, Асеев,
Николай Николаевич,
Крученых
Алексей Алексеич —
он был Елисеичем,
но для комплекта
мы звали его Алексеичем».

Я припомнил об этом открытии
на открытии
выставки автопортрета,
в залах
столь же горячих поклонников нового,
в полыхавших пожарами залах
«Бубнового валета».

Вот они:
Машков,
с плечами и грудью атлета,
Кончаловский,
гигант, со своею женой-великаншей
и огромными чадами.
Фальк — спортивный борец,
и Лентулов — борец цирковой.

Вот они — со своими кубами, квадратами.
Каждый — мощный, веселый, величественный.
живой.

Ту двойную работу,
что России потребовалась тогда,
выполняли
борцы и герои,
солдаты и воины.
Да, борцы со старьем
и герои труда,
чьи стремленья,
свершенья,
имена,
даже мускулы
были удвоены.



ГОНКИ

Гонки закончились. Паровоз
жеребенка сперва обошел
и пол-России потом перевез,
но почему-то попал на прикол.

Все-таки жеребята рябят
во зеленых лугах иногда,
а победители жеребят
не попадают никогда.

Ехала как-то машина во Псков,
а жеребенок резво бежал
вдоль придорожных хвойных песков.
Вдруг он насторожился, заржал.

Вдруг он напрягся, и тотчас рванул,
и на мгновенье нас обогнал,
и обернулся, и гордо взглянул,
словно он что-то грядущее знал,

словно увидел он будущий век,
где жеребенок все-таки был,
автомобиль же
давно позабыл
выбравший самолет человек.

ДЕРЕВНЯ И ГОРОД

(Начало 30-х)

Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.

Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
хлеб с половиной,
с корой,
а также с лебедой.

За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овином,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,
а в городе — а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
сыпались слабость, хворость, робость.

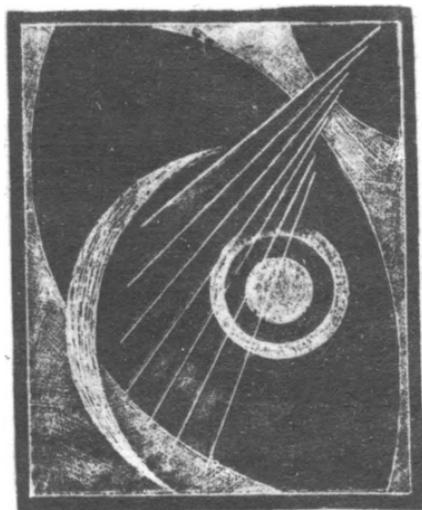
И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытьи,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

ВЕЛИЧИЕ ДУШИ

А как у вас с величием души?
Все остальное, кажется, в порядке,
но, не играя в поддавки и прятки,
скажите, как с величием души?

Я знаю, это нелегко, непросто.
Ответить легче, чем осуществить.
Железные канаты проще вить.
Но как там в отношении благородства?

А как там с доблестью, геройством, славой?
А как там внутренний лучится свет?
Умен ли сильный,
угнетен ли слабый?
Прошу ответ.



КОНЦЕРТ В ГЛУБИНКЕ

Пока столичные ценители
впивают мелос без конца,
поодаль слушают певца,
народных песен исполнителя,
здесь проживающие жители:
казах в железнодорожном кителе,
киргиз с усмешкой мудреца
поодаль слушают певца.

Им текст мелодии нужней,
а что касается мелодии,
она живет в своем народе, и
народ легко бытует в ней.

Понятно им, что не понятно
для кратковременных гостей.
Что проезжающим понятно,
их пробирает до костей.

Убога местная эстрада
и кривобока без конца,
но публика и этой рада:
поодаль слушает певца.

А он, как беркут на ладони,
на коврике своем сидит,
пока стреноженные кони
жуют траву. Он вдаль глядит,
и струны он перебирает
и утирает пот с лица.
А он поет. А он играет.
А те, чей дух в груди спирает,
поодаль слушают певца.

СЛОВО И ПОНЯТИЕ «СВОБОДА»

Составители словарей
для тунгусов и лопарей,
как вы русское слово «свобода»
обозначите, переведете
и в каком словаре найдете?
Не про «волю» я говорю.
«Воля» свойственна словарю
снежной тундры, Дикого поля.
Но свобода сложнее, чем воля.
Нужно, может, десять веков.
Нужно множество эшафотов
для безумцев и чудаков,
Достоевского идиотов.
Нужно много бумаги извести
на стихи в потайной тетради
слова этого тихого ради,
чтоб о нем услышали весть!
Не вакцина — не завезут,
и не алкоголь — не забросят!
Выступает свобода, как проседь,
до костей раздирает, как зуд.
— Ничего, — говорят лексикографы,
составители. — Не беда!
Напряжем свои умные головы
и подыщем словцо без труда.

ЛИРИКИ И ФИЗИКИ

Слово было ранее числа,
а луну — сначала мы увидели.
Нас читатели еще не выдали
ради знания и ремесла.

Физики, не думайте, что лирики
просто так сдаются, без борьбы.
Мы еще как следует не ринулись
до луны — и дальше — до судьбы.

Эта точка вне любой галактики,
дальше самых отдаленных звезд.
Досягнете без поэтов, практики?
Спутник вас дотуда не довед.

Вы еще сражение только выиграли,
вы еще не выиграли войны.
Мы еще до половины вырвали
сабли, погруженные в ножны.

А покуда сабля обнажается,
озаряя мускулы руки,
лирики на вас не обижаются,
обижаются — текстовики.

* * *

Экзаменатор экзаменовал.
Проваливался я и провалился.
Но этот случай вскоре миновал,
и груз экзаменов с меня свалился.

Свалился экзаменационный груз,
и день прошел, когда я забоялся
по-настоящему, хоть был не трус.
Я вспоминал и весело смеялся.

Все остальное легче было: жизнь
не путала, а спрашивала честно.
Я отвечал, что было мне известно.
Никто не говорил мне: откажись,
возьми другой билет, какой полегче.
Никто не наводил тоску и грусть.
Тот груз, что жизнь валила мне на плечи,
был легче, чем экзаменационный груз.

И до сих пор меня бросает в пот,
в холодный пот, горячий, как экватор,
лишь только вспомню, как экзаменатор
матрикул

длantlyю

тяжкою

берет.

МОИ МОЛОДЫЕ ТОВАРИЩИ

Мои молодые товарищи
давно перешли в сказанья
и старше Ивана Грозного
с опричниной
и Казанью.

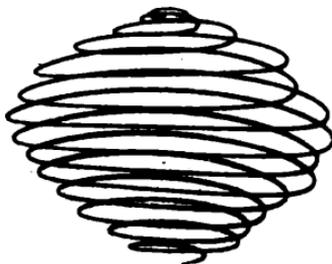
Мои молодые товарищи
древней богатырских былин,
Киевского цикла
и Новгородского цикла.

Как к лету земля привыкла,
и как к земле привыкла,
она привыкла к товарищам,
павшим
в бою за Берлин.

Когда ночами бессонными
они приходят ко мне,
когда перстами беззвучными
они меня нежно будят,
мне кажется:
мы причастны
к самой главной войне.
Такой, наверное, не было.
Конечно, такой не будет.

Оружье моих товарищей
коррозия не берет,
и возраст моих товарищей
самое время не старит.
Я шел и остановился.
Они шагают вперед.
О чем-то тихо толкуют
или неслышно гутарят.

Они обсуждают в подробностях
умолкнувшие бои.
Как молоды
молодые
товарищи мои!



КУЛЬЧИЦКИЙ

Васильки на засаленном вороте
Возбуждали общественный смех.
Но стихи он писал в этом городе
Лучше всех.

Просыпался и умывался —
Рукомойник был во дворе.
А потом целый день добивался,
Чтоб строке гореть на заре.

Некрасивые, интеллигентные,
Понимавшие все раньше нас,
Девы умные, девы бедные
Шли к нему в предвечерний час.

Больше часу он их не терпел.
Через час он с ними прощался
И опять, как земля, вращался,
На оси тяжело скрипел.

Так, себя самого убивая,
То ли радуясь, то ли скорбя,
Обо всем на земле забывая,
Добывал он стихи из себя.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛЕ КОГАНЕ

Разрыв-травой, травую повиликой
мы прорастем по горькой, по великой,
по нашей кровью политой земле.

Из несохранившегося стихотворения Павла Когана

Павел Коган. Это имя
уложилось в две стопы хороя.
Больше ни во что не уложилось.

Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.
Вылезала и торчала
с гневными веселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.

Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
это почитал он за пустяк.

Вечно преждевременный, извечно
современный и послевременный Павел
не был современником, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценят,
мало уважал, что уважают.
Почему-то стал он этим ценен
и за это уважаем.

Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припомню...

В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначенье
новое, на фронт,— не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.

Ничего не помню, кроме сводок.
Помню список сданных нами градов,
княжеских, тысячелетних...

В это время встретились мы с Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.

Он писал мне с фронта что-то вроде:
«Как лингвист, я пропадаю:
полное отсутствие объектов».
Не было объектов, то есть пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.

Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.

До сих пор мне неизвестно,
сколько «языков» он приволок.
До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка
Павла Когана убило.

В сумрачный и зябкий день декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал на почте
все меню московских телефонов.

Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщала:
«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из Багрицкого:
«...Когана убило».

• • •

Журчит рассказ,
и как любой ручей —
уже неважно:
ни о чем, ни чей.

События проточная вода
и счастье,
а вослед за ним беда.

И как лесная жухлая листва,
не торопясь,
сплывают вниз слова.

И только вопль
и жест поднятых рук
прислушаться
нас заставляют вдруг.



ОГРАНИЧЕННОЕ ДОВЕРИЕ СУДЬБЕ

Доверяю судьбе, потому что слепая,
а слепые не видят достоинства зла.
Доверяю судьбе, чтоб она, утопая
хоть в грязи,
хоть в снегу,
хоть в крови,—
но везла.

Можно спрыгнуть с подножки судьбы
и отбиться
от ее пролетающих в ночь поездов.
Но тогда ничего не смогу я добиться,
а покуда я к этому не готов.

Ставка не проиграла,
хотя и не выиграла.
Я могу еще выбрать судьбу по себе,
а не то чтоб судьба
по себе меня выбрала.
Я покуда еще доверяю судьбе.

* * *

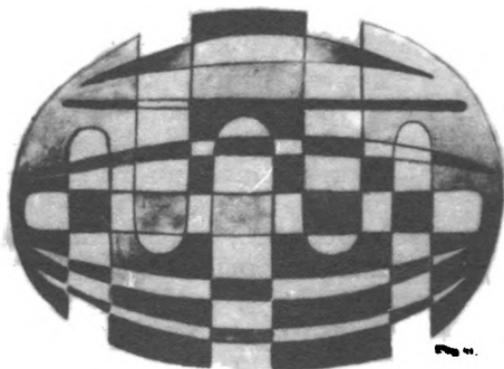
Человечество — смешанный лес,
так что нечего хвою топорщить
или листья презрительно морщить:
все равны под навесом небес.

Человечество — общий вагон.
Заплатили — входите, садитесь.
Не гордитесь. На что вы годитесь,
обнаружит любой перегон.

Человечество — кинотеатр.
С правом входа во время сеанса,
также с правом равного шанса
досмотреть. Умеряйте азарт.
Пререканья и разноглосье
не смолкают еще до сих пор.
Получается все-таки хор.
Мы шумим, но как в поле колосья.



Откуда?
Непонятно.
Начинайся наполняться
гелием,
дирижабля колбаса.
Сгинь,
рассыпья,
лопни,
пропади!
Только с каждым утром вновь приди.



ПОМЕТА ПОД СТИХОТВОРЕНИЕМ

Все равно, где написано,
хоть в кювете,
хоть идя на дно,
хоть болтаясь в петле,
можно ставить внизу:
на белом свете —
или даже так:
на черной земле.

Впрочем, магия места происшествия
входит, словно оркестр в состав полка,
в ритуал восхождения или шествия
до тех пор,
восходишь ты пока.

Входит, словно твое лицо на фото,
словно дружбы твои и твои вражды,
словно то, что ты не любишь охоты,
но зато рыбаки тобою горды.

А когда твои книги всегда в продаже,
почему-то
становится всем все равно,
что тебя вдохновило,
какие пейзажи,
и недавно написано
или давно.

* * *

...Это все прошло давно.
Промелькнуло, как в кино.

С недоверием глядит
поколение деток:
для него я троглодит,
для него я предок,

для него я прошлый век,
скукота зеленая,
для него — не человек,
рыба я соленая.

рыба я мороженная,
в сторону отложенная.

Я надоедать устал.
Я напоминать не стал.



ВЫБИРАЮЩИЙ ПУТЬ

Выбирающий путь —
не птенец полоротый.
Отвечает за все повороты.

Перекресток вопросы свои задает.
Выбирающий путь выбирает ответы:
посидит, поразмыслит и резко встает,
понимая, что он отвечает за это.

Отвечает перед идущим вослед
и в затылок с покорным вниманьем глядящим,
разучившимся, верно, за давностью лет
выбирать,
но усердствующим и следящим.

По минированным пролагает полям
путь-дороги, в болотах пути выбирает.
Потому что победа у них пополам.
Потому что опасность он всю забирает.

Все осколки ему, и все вьюги ему.
Почему так устроено? А потому,
что сызмальства, сыздетства, сначала, заранее
выбирал он не следование, а выборание.

НЕ ЗА СЕБЯ ПРОШУ

Седой и толстый. Толстый и седой.
Когда-то юный. Бывший молодой,
а ныне — зрелый и полупочтенный,
с какой-то важностью, почти потешной,
неряшлив, суетлив и краснолиц,
штаны подтягивая рукою,
какому-то из важных лиц
опять и снова не дает покоя.

В усы седые тщательно сопя,
он говорит: «Прошу не за себя!»

А собеседник мой, который тоже
неряшлив, краснолиц, и толст, и сед,
застенчиво до нервной дрожи
торопится в посольство на обед.

— Ну что он снова пристаёт опять?
Что кланчит? Ну, ни совести, ни чести!

Назад тому лет тридцать, тридцать пять
они, как пишут, начинали вместе.

Давно начало кончилось. Давно
конец дошел до полного расцвета.
— И как ему не надоест все это?
И как ему не станет все равно?

На солнце им обоим тяжело —
отказываться так же, как стараться,
а то, что было, то давно прошло —
все то, что было, если разобраться.

СТАРОСТЬ

Зависимость

от ломкости костей,
от стойкости гостей
не уходящих
и от больших поэтов, настоящих,
из малых автономных областей.

Приверженность

к прочтенным, перечтенным
и перечтенным еще раз томам,
к каким-то строкам,
прежде не учтенным,
ко стелющимся вдоль теней дымам.

Уверенность:

до будущей весны
я доживу
и, если живы будем,
она озеленит и явь и сны
и землю с небом
мне отдаст и людям.

Неинтерес,

достигнутый уже
к тому, что на пройденном рубеже
так волновало, интересовало,
и чуткость к приближению обвала
в крови, в душе.

СЕСТРЫ

На похороны Заболоцкого
приехавшие издалёка,
родные сестры Заболоцкого
сидят без страха и упрека.

Учительницы в черных платьях.
Их стройность горе не сломало.
Что мы о сестрах и о братьях
поэтов
знаем? Мало. Мало.

Не упомянуты ни разу
в стихах покойного поэта,
они вмещались в полуфразу
им заполнявшейся анкеты.

А все же видимые нити
соединяют эти лица.
Найдите или протяните —
и сходство будет длиться, длиться.

Дымятся ваши папироски.
О, как вам горестно и жалко,
о, стройные, словно березки,
учительницы-провинциалки.

Сильнее, может быть, сторицей
семьи отчаянье и клана,
чем высказанное столицей,
чем проповеданное славой.

УХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Время уходит, и даже в анализах крови можно увидеть: седеют косматые брови времени и опускаются властные плечи времени. Время времени — недалече.

Время уходит своим государственным шагом, то горделиво, как под государственным флагом, то музыкально, как будто бы гимн государства грянет немедленно, через минуту раздастся.

Но если вдуматься, в том, что время уходит, важно лишь то, что оно безвозвратно уходит и что впоследствии никто не находит время свое, что сейчас вот уходит.

Время уходит. Не радуется, но уходит.
Время уходит. Оглядывается, но уходит.
Кепочкой машет.
Бывает, что в губы лобзает,
но — исчезает.



ПАМЯТЬ СТАРЫХ ЖЕНЩИН

Чашки бьются чаще, чем блюда.
Точно так же и мужеский пол.
Еще женщины плачут, смеются,
а мужчины — мордой об стол.

И поэтому память рода,
исторические остроты,
и запахнутые ворота,
и победы, и повороты,

то, что в книгах и что вне книг,—
твердо старые женщины помнят.
Опыт мира не был бы понят,
не был бы освоен без них.

Помнят старые женщины то, что
в треугольных конвертах почта
привозила еще с войны.
Забывать никак не должны.

Помнят голос черной тарелки,
хрипы, скрипы, смех и плач.
Помнят, как годовые стрелки
то ползли, то пускались вскачь.

У старух бесконечные ночи.
У старух продленные дни.
Изо всей старушечьей мочи
вспоминают, помнят они.

Помнят счастье и горе-горюшко.
И опять — надежды огни.
Как бутылки, по самое горлышко,
памятью

налиты они.

СТАРУХА — СТАРИКУ

Старуха старику
кричит по телефону.
Про что она кричит?
Она кричит про то,
чтоб он не смел гулять,
ну, разве по балкону
и то —
закутавшись в суконное пальто.

— Поаккуратней двери запирай! —
она кричит
с такою грозной силой,
что мне все слышится:
— Не умирай!
Живи, пожалуйста,
мой милый, милый!

ВНЕЗАПНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Жилец схватился за жилет
и пляшет.
Он человек преклонных лет,
а как руками машет,
а как ногами бьет паркет
схватившийся за свой жилет
рукою,
и льется по соседу пот
рекою.

Все пляшет у меховщика:
и толстая его щека,
и цепь золотая,
и белизна его манжет,
и конфессиональный жест —
почти летая.
И достигают высоты
бровей угрюмые кусты
и под усами зыбко
бредущая улыбка.

А я — мне нет и десяти,
стою и не могу уйти:
наверно, понял,
что полувек не пройдет
и это вновь ко мне придет.
И вот — я вспомнил.

Да, память шарит по кустам
десятилетий. Здесь и там
усердно шарит.
Ей все на свете нипочем.
Сейчас бабахнет кирпичом
или прожекторным лучом
сейчас ударит.

ИГРА В КИРПИЧИ

Битых кирпичей было столько, что не бросить их было нельзя. Развивая в себе стойкость стойка, понимая, такая стезя, в детства нашего в самом начале утверждали мы: все нипочем, и бросались мы кирпичами, битым, ломаным кирпичом.

Небольшую дистанцию выбрав — метров несколько, щебню набрав, ритуальный твердили мы вызов, проверяли характер и нрав. В детства нашего самом начале утверждали мы: все нипочем, и бросались мы кирпичами, битым, ломаным кирпичом.

Столько битв и ломало и било, столько войск перло против рожна, столько войн на земле этой было и гражданская даже война! Нам всего не хватало. Обломков нам хватало — повсюду скрипят. Мы бросали их точно и ловко, попадали в себя и в ребят.

Целить в голову нам не хотелось. Чаще целили мы по ногам. Победить помогала нам смелость и азарт молодой помогал. В детстве нашего самом начале утверждали мы: все нипочем, и бросались мы кирпичами, битым, ломаным кирпичом.

РУКА В РУКЕ

Семья была маленькая: сын и мать.
Сын был маленький, но вырос большой
и научился ее понимать,
и прилепился к ней всей душой.

Стали они неразлейвода.
Прожили вместе года, года.
И было матери беда, беда,
с работы опаздывал он когда.

Как взялись за руки тридцать лет
назад,

 так и не разомкнули рук.
Но стало сыну тридцать лет,
и у него появился друг.

Но третьей лишней
 его жена
в его семью

 ненадолго вошла.
Чего-то не поняла она,
чего-то там она не нашла.

Все третьи —
 лишние для них двоих.

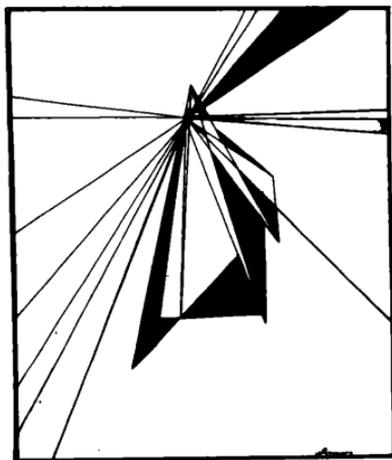
В конце концов
 им только вдвоем
без третьих лишних,
 без всех остальных
понятен счастья полный объем.

Как только в наш кинотеатр войду,
и сяду в тридцать первом ряду,
и десяти минут не прожду,
они предо мной

в тридцатом ряду.

Предо мною, недалеко
ее рука

в его руке.



ЗНАКОМСТВО С НЕЗНАКОМЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Выполнив свой ежедневный урок —
тридцать плюс минус десять строк,
это примерно полубаллада, —
я приходил в состояние лада,
строя и мира с самим собой.
Я был настолько доволен судьбой,
что — к тому времени вечерело —
в центр уезжал приниматься за дело.

Улицы Горького южную часть
мерил ногами я, мчась и мечась.
Улицу Горького после войны
вы, поднатужась, представить должны.
Было там людно, и было там стадно.
Было там чудно бродить неустанно,
всю ее вечером поздним пройти,
женщин разглядывая по пути,
женщин разглядывая и витрины.
Молодость! Ты ведь большие смотрины!

Мой аналитический ум,
пара штиблет и трофейный костюм,
ног молодых беспардонная резвость,
вечер свободный, трофейная дерзость —
много Амур мне одалживал стрел!
Женщинам прямо в глаза я смотрел.
И подходил. Говорил: — Разрешите!
В дружбе нуждаетесь вы и в защите.
Вечер желаете вы провести?
Вы разрешите мне с вами — пойти!

Был я почти что всегда отшиваем.
Взглядом презрительным был обдаваем
и критикуем по части манер.
Был даже выкрик: — Милиционер!

Внешность была у меня выше средней.
Среднего ниже были дела.
Я отшивался без тренировок и прений.
Вновь пришивался: была не была!

Чем мы, поэты, всегда обладаем,
если и не обладаем ничем?
Хоть не читал я стихи никогда им —
совестно, думал, а также — зачем? —
что-то иные во мне находили
и не всегда от меня отходили.
Некоторые, накуражившись властью,
годы спустя говорили мне мило:
чем же в тот вечер я увлеклась?
Что же такое в вас все-таки было?

Было ли, не было ли ничего,
кроме отчаянности или напора, —
задним числом не затею я спора
после того, что было всего.

Матери спрашивали дочерей:
— Кто он? Рассказывай поскорей.
Кто он? — Никто. — Где живет он? — Нигде.
— Где он работает? — Тоже нигде. —
Матери всплескивали руками.
Матери думали: быть ей в беде —
и объясняли обиняками,
что это значит: никто и нигде.

Вынес из тех я вечерних блужданий
несколько неподдельных страданий.
Был я у бездны не раз на краю,
уничтожаясь, пылая, сгорая,
да и сейчас я иных узнаю,
где-нибудь встретившись, и — обмираю.

ЖЕЛАНЬЕ ПОЕСТЬ

Хотелось есть.
И в детстве
и в отрочестве.
В юности тоже хотелось есть.
Не отвлекали помыслы творческие
и не мешали лезть и мечь
аппетиту.
Хотелось мяса.
Жареного, до боли аж!
Кроме мяса
имелась масса
разных гастрономических жажд.

Хотелось выпить и закусить,
повторить, не стесняясь счетом,
а потом наивно спросить:
— Может быть, что-нибудь есть еще там?

Наголодавшись за долгие годы,
хотелось попросить судьбу
о дарованье единственной льготы:
жрать!
Чтоб дыханье сперло в зобу.

Думалось: вот наемся, напьюсь
всего хорошего, что естся и пьется,
и творческая жилка забьется,
над вымыслом слезами обольюсь.

ПАРАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

По парадным лестницам торжественно ступают.
По пожарным лестницам взбираются стремглав:
если заваруха наступает,
кто взберется первым, тот и прав.

Черный ход со стороною
оборотною, с изнанкою вещей и дел,
много раз испробованы мною:
это мой удел и мой предел.

Здесь я научился не чиниться
и тем паче не лениться,
старикам дорогу уступать,
помогать то женщинам, то детям
по ступеням этим,
шатким этим,
скользким этим, ломким этим
быстро и оглядчиво ступать.

ВНЕЗАПНО

Темно. Темнее темноты,
и переходишь с тем на «ты»,
с кем ни за что бы на свету,
ни в жизнь и ни в какую.
Ночь посылает темноту
смирять вражду людскую.

Ночь — одиночество. А он
шагает, дышит рядом.
Вселенской тьмы сплошной закон
похожим мерит взглядом.

И возникает дружба от
пустынности, отчаяния
и оттого, что он живет
здесь, рядом и молчание
терпеть не в силах, как и я.

Во тьме его нащупав руку,
жму, как стариннейшему другу.

И в самом деле — мы друзья.

БОЛЬШАЯ ТРЕНИРОВКА

Озабочу его, озадачу,
перед фактом поставлю стоймя
и заботы его и задачи
увеличу двумя и тремя.

Осажу его, огорошу,
покажу ему образ беды.
На сознания белой пороше
наслежу сапогами следы.

Незадачливый и беззаботный,
станет он и учен и умен,
словно в карточке хлебной заборной
сбереженный, последний талон.

Все узнает, чего не знал он,
все, что не понимал он,— поймет
и довольствоваться даже малым
он за правило жизни возьмет.

Да, поймет. И спасибо мне скажет
за преподанный с маху урок
и за опыт, который был нажит,
тот, что приобрести я помог.

РУКА И ДУША

Не дрогнула рука!
Душа перевернулась,
притом совсем не дрогнула рука,
ни на мгновенье даже
не запнулась,
не задержалась даже
и слегка.

И, глядя
на решительность ее —
руки,
ударившей,
миры обруша,—
я снова не поверил в бытие
души.
Наверно, выдумали душу.

Во всяком случае,
как ни дрожит
душа,
какую там ни терпит
муку,
давайте поглядим на руку.
Она решит!

СЛАВА

Слава — вырезки из газет,
сохраняемые в архиве,
очень легкие, очень сухие.
Для растопки лучшего — нет.

Слава — музыка и слова
неизвестного происхождения,
но такие, что вся Москва
бормотала при пешем хожденье.

Слава — это каждый твой писк
в папке скапливается почитателем.
Слава — это риск,
риск писателя стать читателем.

Слава — очередь. Длинный хвост
в книжной лавке за новой книжкой.
Слава — это каждый прохвост
треплет имя твое...

Слава — слово злое, соленое
шлют вдогонку, зла желая.
Слава — слива. Сперва зеленая,
после черная, после гнилая.

КАК ВАГОН

Стал на рельсы, как вагон,
и катился, как вагон,
вез свои шестнадцать тонн
и свалился, как вагон,
под откос.
И не думал о другом,
как не думает вагон:
стал и вез.

Ни за что не отвечал,
прав ни разу не качал,
даже нравственных начал
не изобретал.
Просто стал на рельсы и
все шестнадцать тонн свои
вез, пока не встал.

Встал, не двинется. Беда!
А теперь его куда?
В лом.
А теперь его в утиль.
Метод этакий и стиль
в нем.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕТ

Смирное бессмертие архива!
Перспектива: истереться в пыль,
прахом стать. Такая перспектива
не поддерживает пыл.

Мы, в пыли лежащие, не скроем
от общественности всей страны:
любопытством, пусть нескромным,
мы обделены.

Неразрезанных страниц бесславье!
Неужели стоило труда
никому посланье
в никуда.

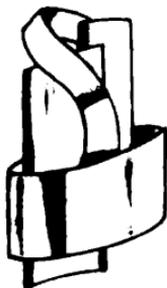
Черный перечень пора устроить —
может, нас читатель проглядел?
С полки снять,
в руки взять,
пыль стереть —
хотя бы с места стронуть
славы черный передел.

Нам, писателям второго ряда
с трудолюбием рабочих пчел,
даже славы собственной не надо.
Лишь бы кто-нибудь прочел.

* * *

Опровергнув ругательства гения,
этим как-то понизив его,
мы, легчайшие, легче гелия,
ощущаем торжество:
мы как будто утяжеляемся,
мы весомей становимся вдруг,
как вагон, от него отцепляемся,
как вода, уходим из рук.

Мы выходим в свободное плаванье:
избежал Голиафа Давид,
потому что тяжелыми лапами
гений сгреб нас, но не раздавил.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ

Охладеваем, застываем,
дыханье про себя таим:
мы ничего не затеваем,
когда пред зеркалом стоим.

Без жалости. Без разговоров.
Без разговоров. Без пощад.
Ведь зеркала не заключат
и не подпишут договоров.

Они отсрочек не дают,
они пыльцу цветную сдунут,
они вам в душу наплюют —
блеснут, сверкнут и в рожу плюнут.

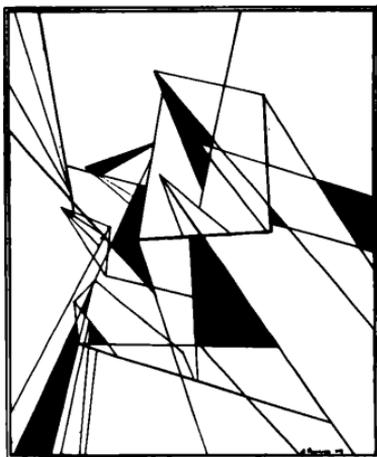
Напоминают зеркала
без всякой скидки или льготы,
что молодость давно прошла
и что необратимы годы.

Скорей заставишь реку вспять
потечь, хотя бы силой взрыва,
чем старость — отступить на пядь,
не наступать нетерпеливо.

Определяют зеркала,
что твой удел отныне — старость
и то, что выжжено дотла,
и то, что все-таки осталось.

Всю жизнь я правду почитал
и ложью брезговал и скидки
не требовал, но слишком прытки
постановления зеркал.

Их суд немилостив, и скор,
и равнодушен, и поспешен,
и, предвкушая приговор,
шепчу тихонько: грешен, грешен.



РЕШКА

Снова решка вышла, а орел,
как ни брось монету,— не выходит.
Постепенно сходит
с испытанья
блеск и ореол.

Ясно: после решки будет решка,
а потом
снова решка, решка, решка, решка
первой решке в такт и в тон.

Все орлы с моих монет
улетели, а куда — не знаю.
Кроме решки, нет
ничего. Она одна, сплошная.

Этого орешка
и на этот раз не разгрызу:
снова решка, решка, решка,
так что попросту рябит в глазу.

Снова брошу.
Снова решкой лег
гривенник,
и это всякий видит.
Прячу мелочь в кошелек:
ничего не выйдет.

СЛОВО НА КАМНЕ

Стихла эта огромная нота. Звучанье
превратилось в молчанье.
Не имевший сравнения цвет
потускнел, и поблекнул, и выпал из спектра.
Эта осень осыпалась.
Эта песенка спета.
Это громкое «да!»
тихо сходит на «нет».

Я цветов не ношу,
монумент не ваяю,
просто рядом стою,
солидарно зияю
с неоглядной,
межзвездной почти
пустотой,
сам отпетый, замолкший, поблекший, пустой.

Будто угол обрушился
общего дома
и врывается буря
в хоромы пролома.

Кем он был?
Человеком.
И странная гордость
прибавляется
каплей блестящею
в горечь.
Добавляется к темени
пламени пыл —
человеком,
как я
и как все мы,
он был.

ПЕРЕВОДЫ

Чужого языка слова
начну укладывать в едва
угаданные мной изложницы.

А остальное все приложится:
Психея, музыка, душа,
гармония или страданье —
они приходят не спеша,
но все-таки без опозданья.

Они в язык из языка
через меня, проводника,
проходят и теряют
не более, чем в меди ток
и в парфюмерии цветок,
и тихо повторяют
первоначальный звук родной,
сперва почти утраченный,
а ныне нашей стороной
освоенный и схваченный.

Вчера он был едва знаком —
вполглаза, понаслышке,
а ныне нашим языком
он напечатан в книжке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДМЕННОСТЬ

Тяжело быть поэтом с утра до вечера,
у иных же — и с вечера до утра,
вычлняя из облика человеческого
только рифму, ритм, вообще тра-ра-ра.

Если жизнь есть сон, то стихи — бессонница.
Если жизнь — ходьба, то поэзия пляс.
Потому-то поэты так часто ссорятся
с теми, кто не точит рифмованных ляс.

Эта странность в мышлении и выражении,
эта жизнь, заключенная крепко в себе,
это — ежедневное поражение
в ежедневно начатой вновь борьбе.

Не люблю надменности поэтической,
может быть, эстетической,
вряд ли этической.
Не люблю вознесения этой беды
выше, чем десяти поколений труды.

Озираясь, как будто бы чуя погоню,
голову боязливо втянув в воротник,
торопливо, надменно, робко и беспокойно
мы, поэты, проходим меж всяких иных.

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

Ставил я большие задачи,
труднодостижимые цели
и гнушался мелкой удачи,
если радовался ей — еле-еле.
Все красоты белого света
порицал когда-то спесиво.
А теперь дожить до рассвета —
и за это скажу спасибо.

До рассвета часа четыре
или более — с половиной.
Время в госпитальном микромире
мчится кавалерийской лавиной.
Конной лавою время мчится,
несмотря на любые потери.
Во все окна время стучится.
Ломится во все мои двери.

Мне бы надо в комочек сжаться:
может, мимо оно пронесется —
и четыре часа продержаться,
пока глянет бедное солнце.
Вот оно! Уже градусник просит
мой сосед. А второго соседа
из палаты тихонько выносят —
не дождавшегося рассвета.

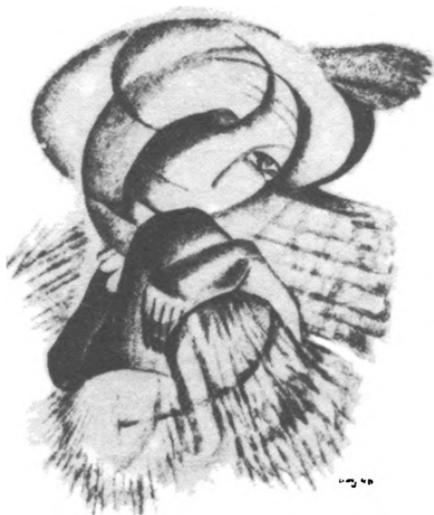
КАТЕГОРИИ ПРЕКРАСНОГО

Прекрасно,—
как листопады,
засыпанные снегопадом,
октябрьские и ноябрьские
злосчастные черновики,
в декабрьские и январские
коротенькие деньки,
зимую перебеленные;—
двор с огородом и садом.

Прекрасно,—
как сквозь деревья
просвечивающие небеса,
как в деревья осенние
сквозящее вечное небо,—
как запах
горячего, свежего пеклеванного хлеба
после дня трудового
до ужина
за полчаса.

Прекрасно,—
как спор о прекрасном,
где правота —
у всех,
где каждый возводит на небо
свою звезду любимую,
кто —
«Братьями Карамазовыми»,
кто —
«Тонкою рябиною»
уверенно обосновывая
свой несомненный успех.

Прекрасно,—
как молчание
после прекрасных словес,
которые слишком прекрасны,
чтобы быть прекрасными.
Сто тысяч слов лексикона
кажутся однообразными,
когда одно молчание
громыкает с небес!

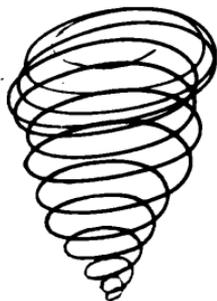


* * *

Недостойно бежит старичок,
сотрясаясь тремя четвертями
века,
а может, двумя третями
века,
весь от поджилок до щек.

Если добр и любезен шофер,
он ему остановит автобус.
Если нет, то, все ноги оттопав,
он, наверно, бредет до сих пор.

Через ночь, через грязь, через тьму,
вдоль по старости, как по траншее,
где сегодня так страшно ему
и где завтра мне будет страшнее.



САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ БУДУЩЕЕ

Самое важное будущее — ближайшее,
где-то за первой горкой лежащее,—
как перевалишь,
так и узнаешь,
чем оно будет,
что тебя ждет.
Сразу в лицо его признаешь —
то, до которого каждый дойдет.

Это самое важное будущее,
а тем, что будет за гранью веков,—
не интересуюсь.
Узнаю — забуду еще:
в самом деле, без дураков.

Обойдусь и этим текущим,
этим, ревушим за окном
двадцатым веком,
ближайшим грядущим.
А дальнейшее будущее —
что мне в нем?

ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ

Госпиталь дизентерийный
добрым словом помяну.

Дом помещичий, старинный.
Пышно жили в старину.

Простыня! Какое счастье.
Одеяло! Идеал.

В этот госпиталь при части
на неделю я попал.

На неделю — с глаз долой!
С глаз войны и с глаз мороза.

Молодой и удалой,
я — лежу, читаю прозу.

Чистота и теплота.
Нравов, правда, простота.

Но простые эти нравы
в здешнем госпитале — правы.

Позже я в дворцах живал.
Позже я попал в начальство.

Как себя именовал
этот госпиталь при части!

Как смеялся над собой!
Языком молол, Емеля!

Но доволен был судьбой:
все же — целая неделя.

КРЫЛЬЯ КОНЕВА

Крылья Конева не похожи на крылья коня,
именуемого Пегасом,
но они не однажды прикрывали меня,
рокоча своим гомерическим басом.

В малом зале писательского клуба
ни полметра свободного

нынче нет.

Перед нами — сколоченный крепко и грубо
старый маршал —
семидесяти, может быть, лет.

Говорит:

левое мое крыло
город Краков

от подрыва прикрыло.

И крыло метнулось над нами, прошло,
в нем дивизий двадцать,
наверное, было.

Говорит:

правое мое крыло
ударило по противнику танковыми корпусами,
и правое крыло над нами прошло,
шумя морями, шелестя лесами.

Покуда, разгоряченный спором,
то сдержанность маршал проявит, то пыл,
я вспоминаю крыло, в котором
майором, малым пером, я был.

О как мы взлетали тогда над землей,
когда вторая шла мировая,
и город Краков,
и шар земной
огромными крыльями прикрывая.



ВОЛОКУША

Вот и вспомнилась мне волокуша
и девчонки лет двадцати:
ими раненые волокутся,
умирая по пути.

Страшно жалко и просто страшно:
мины воют, пули свистят.
Просто так погибнуть, зряшно,
эти девушки не хотят.

Прежде надо раненых выволочь,
может, их в медсанбате вылечат,
а потом чайку согреть,
а потом — хоть умереть.

Натаскавшись, належавшись,
кипяточку поглотаю,
в сыроватый блиндажик залезши,
младший крепко спит комсостав.

Три сержантки — мала куча —
вспоминаются нынче мне.
Что же снится им?
Волокуша.
Тянут раненых и во сне.

* * *

Память вдовы. Память старухи.
Памяти эти, как гидры, сторуки.

То, что покойник охотно простит,—
память вдовы сполна возместит.

То, что он не принимал во внимание,—
примет жестокая, словно Германия,

неумолимая, как трибунал,
старая женщина. Он и не знал

то, что он гений, ему было ладно
с тем, что он жил, и так, как он жил.

То, к чему он бы отнесся прохладно,
вынет вдова до последней из жил.

Малые культы домашних богов,
скудные жертвы, глухие проклятья!

Память старухи. В ней нету изъятья.
Грех — это грех. Ков — это ков.

Похолоднее замерзших планет,
то ли Плутона, то ли Урана,

память, горячая, словно рана:
давности — нет.

* * *

Не могу заснуть на левом боку
и тем более на спине.
Лишь единственно на правом боку
удается выспаться мне.

Засыпавший в грязи, во льду, в снегу,
в свежевыкопанной земле,
я на левом боку заснуть не могу.
В чистоте не могу! В тепле!

Размотался до полого стержня клубок.
До прозрачности износилось сукно.
Докатился до края земли колобок.
Докрутилось до грохота стульев кино.

Вот он, край земли!
Дальше некуда.
Ну, давай, пошли!
Больше некогда.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ

С неловкостью перечитал,
что написалось вдохновенно.
Так это все обыкновенно!
Какой ничтожный капитал
души
был вложен в эти строки!
Как это плоско, наконец!

А ночью все казалось:
сроки
исполнились!
Судьбы венец!

Отказываюсь от листка,
что мне Доской Судьбы казался.
Не безнадежен я пока.
Я с легким сердцем отказался!



ДАВНО ПРОШЕДШИЙ ГОД

Человек отступает в себя.
Осязание, слух и зрение —
все работает на подозрение.

Человек обрывает свои
связи, дружбы и увлечения
и до полного излечения

от грызущей его тоски,
страха, что ли, печали, что ли,
отдается сердечной боли.

А потом наступает срок —
и, как пальма свой потолок,
так и он свой страх пробивает

и выходит из берегов,
и совсем не боится врагов,
и про этот год забывает.

ЗАВЕРШЕНИЕ

На полуфразе, нет, на полуслове,
без предисловий и без послесловий,
на полузвуче оборвать рассказ,
прервать его, притом на полуноте,
и не затягивать до полуночи,
нет, кончить все к полуночи как раз.

К полуночи закончить все, к курантам,
рывком решительным и аккуратным,
а все, что плел и расплести не мог,
все тропки, что давно с дороги сбились,
клубки, что перепутались, склубились,
загнать в полустраничный эпилог.

А в эпилоге воздух грозовой.
Дорога в эпилоге — до порога.
Короткий и печальный разговор
у эпилога.

РАВНОДУШИЕ К ФУТБОЛУ

Расхождение с ровесниками
начиналось еще с футбола,
с той почти всеобщей болезни,
что ко мне не привилась,
поразив всех моих ровесников,
и притом обоего пола,
обошедшись в кучу времени,
удержав свою кроткую власть.

Сэкономлена куча времени и потеряна
куча счастья.

Обнаружив,
что в общежитии никого в час футбола нет,
отказавшись от сладкого бремени,
я обкладывался все чаще
горькой грудой книг
и соленой грудой газет.

И покуда там,
на поле —
ловкость рук,
никакого мошенства,—
позабывши о футболе,
я испытывал блаженства,
не похожие на блаженства,
что испытывал стадион,
непохожие, но не похуже,
а пожалуй, даже погуще.

От чего? От словесного жеста,
от испытанных идиом.

И пока бегучесть,
прыгучесть
восхищала друзей и радовала,

мне моя особая участь
тоже иногда награды давала,
и, приплясывая,
пританцовывая
и гордясь золотым пустяком,
слово в слово тихонько всовывая,
собирал я стих за стихом.



МЕЛОЧЬ ПОД НОГАМИ

Хорошо заработать деньги.

Большущие!

Еще лучше — просто найти в траве
эти гривенники, терпеливо ждущие,
эту бронзу — по копейке, по две.

Если под ноги взглядываешь умеючи
и при этом больших новостей не ждешь,
ни за что не пройдешь мимо медной мелочи!
Никогда не пройдешь!

Замечаешь сначала, орел или решка.

Все равно, орел или решка!

Усмешка

от подарка не столь уж щедрой судьбы
проползает меж верхней и нижней губы.

В регулярном, как Петербург петровский,
мире

людям хочется и рублей,
и случайной мелочи, звонкой, броской,
и викторий гром,
и блеск ассамблей.

В мире жесткой плановой необходимости
и бредущих по расписанью ракет
хорошо из-под шкафа метлою вымести
запровавший век назад брегет.

Хорошо, что еще не списан случай
со счетов, не сброшен со стола,
хорошо
в традиции самой лучшей
иногда сказать:
была — не была!

НЕУЖЕЛИ!

Неужели сто или двести строк,
те, которым не скоро выйдет срок,—
это я, те два или три стиха
в хрестоматии — это я,
а моя жена и моя семья —
шелуха, чепуха, труха?

Неужели черные угли — в счет?
А костер, а огонь, а дым?
Так уж первостепенен посмертный почет?
Неужели необходим?

Я людей из тюрем освобождал,
я такое перевидал,
что ни в ямб, ни в дактиль не уложить —
столько мне довелось пережить.

Неужели Эгейское море не в счет,
поглотившее солнце при мне,
и лишь двум или трем стихам почет,
уваженье в родной стороне?

Неужели слезы в глазах жены
и лучи, что в них отражены,
значат меньше, чем малопонятные сны,
те, что в строки мной сведены?

Я топил лошадей и людей спасал,
ордена получал за то,
а потом на досуге все описал.
Ну и что,
ну и что,
ну и что!

* * *

Становлюсь похожим на деда
и давно похож на отца.
Серебристою ниткою вдега
седина. Седины — без конца.

Это общедоступное средство —
подождать, чтобы годы прошли,
и проступит родство и наследство,
корни вылезут из-под земли.

Все, что тушевалось, тупилось
в быстротечной сумятице дней,—
незатейливость, тихость, терпимость
выступают ясней и ясней.

И о деде я слышал все то, что,
чем мне помнится мой отец,
вдруг доходит, как старая почта,
мне доставленная наконец.

ПАЛАТА

У меня, по крайней мере, одно достоинство:
терпимость,
равнодушие в смеси с дружелюбием.
Но не в равных долях:
дружелюбия больше.
Стало быть, есть немного
любви, особенно жалости.
Все это получено по наследству,
но доучивался я в палате,
где лежал после трепанации черепа
с десятью другими,
лежавшими после трепанации черепа.
Череп, когда их расколот
даже с помощью мединструментов,
необщительны, неприязненны,
пессимистичны, неконтактны.
Самые терпимые из их владельцев
эволюционируют
от дружелюбия к равнодушию,
а потом к ярости.
Я развивался в противоположном направлении.
Я не стонал,
когда просили:
— Замолчи! — Я не ругался,
когда курили под табличкой
«Палата для некурящих».
Когда я слышал чужие стоны,
я думал, как ему плохо,
а не только как мне плохо
оттого, что он стонет.
Я выслушивал похабные анекдоты
из уст умирающего
и смеялся.
Из жалости.

Я притерпелся к своей терпимости.
Она не худшего сорта.
Одни доучивались в институте,
другие в казарме,
или в землянке,
или в окопе,
или в бараке.
Кто в семье,
кто на производстве,
кто на курсах по повышению квалификации.
Я повышал квалификацию
в палате для оперированных
во Второй Московской градской больнице.
Спасибо ее крепостным стенам,
озабоченному медперсоналу
и солнечному зайчику,
прибегавшему с воли
поглядеть, как мы терпим свое терпение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернулся из странствия, дальнего столь,
что протерся на кровлях отечества толь.
Что там толь?
И железо истлело,
и солому корова изъела.

Я вернулся на родину и не звоню,
как вы жили, Содом и Гоморра?
А бывало, набатец стабильный на дню —
разговоры да переговоры.

А бывало, по сто номеров набирал,
чтоб услышать одну полужразу,
и газеты раскладывал по номерам
и читал за два месяца сразу.

Как понятие новости сузилось! Ритм
как замедлился жизни и быта!
Как немного теперь телефон говорит!
Как надежно газета забыта!

Пушкин с Гоголем остаются одни,
и читаю по школьной программе.
В зимней, новеньким инеем тронутой раме —
не фонарные, звездные
блещут огни.

ХАРЬКОВСКИЙ ИОВ

Ермилов долго писал альфреско. Исполненный мастерства и блеска, лучшие харьковские стены он расписал в двадцатые годы, но постепенно сошел со сцены чуть позднее, в тридцатые годы.

Во-первых, украинскую столицу перевели из Харькова в Киев — и фрески перестали смотреться: их забыли, едва покинув. Далее. Украинский Пикассо — этим прозвищем он гордился — в тридцатые годы для показа чем дальше, тем больше не годился.

Его не мучили, не карали, но безо всякого визгу и треску просто завешивали коврами и даже замазывали фреску.

Потом пришла война. Большая. Город обстреливали и бомбили. Взрывы росли, себя возвышая. Фрески — все до одной — погибли.

Непосредственно, самолично рассмотрел Ермилов отлично, как все расписанные стены, все его фрески до последней превратились в руины, в тени, в слухи, воспоминанья, сплетни.

Взрывы напоминали деревья.
Кроны упирались в тучи,
но осыпались все скорее —
были они легки, летучи,
были они высоки, гремучи,
расцветали, чтобы поблѣкнуть.

Глядя, Ермилов думал: лучше,
лучше бы мне ослепнуть, оглохнуть.

Но не ослеп тогда Ермилов,
и не оглох тогда Ермилов.
Богу, кулачища вскинув,
он угрожал, украинский Иов.

В первую послевоенную зиму
он показывал мне корзину,
где продолжали эскизы блѣкнуть,
и позволял руками потрогать,
и бормотал: лучше бы мне ослепнуть —
или шептал: мне бы лучше оглохнуть.

* * *

Объединенная с Офелией
одним — безумием,
она читала про Офелию
свои раздумия —
читала про обожествление,
читала про отождествление,
а мы внимали в изумлении,
злясь и угрюмея.

Вполоборота и не глядя нам
в глаза, она руками всплескивала
и словно бы дышала ладаном,
глазетом гробовым поблескивала,
ту барышню средневековую
как будто навсегда заковывая
в свои созвучья пустяковые
о выдуманном и нагаданном.

И трогая, и зля, и мучая,
не шаткие, но и не валкие,
звучали жалкие созвучия,
созвучия звучали жалкие —
торжественные, словно чествования,
но пригородные, словно окрестности.

И тень ее была вещественнее
ее тоскливой бестелесности.

ГОРОДСКАЯ СТАРУХА

Заступаюсь за городскую старуху —
деревенской старухи она не плоше.
Не теряя ничуть куражу и духу,
заседает в очереди, как в царской ложе.

Лишена завалинки и природы,
и осенних грибов, и летних ягод,
все судьбы повороты и все обороты
все двенадцать месяцев терпела за год.

А как лифт выключали — а его выключали
и на час, и на два, и на две недели, —
это горше тоски и печальной печали.
Городские старухи глаза проглядели,

глядя на городские железные крыши,
слыша грохоты городского движения,
а казалось: куда же забраться повыше?
Выше некуда этого достижения.

Телевизор, конечно, теперь помогает,
внуки радуют, хоть их не много, а мало.
Только старость тревожит, болезнь помыкает.
Хоть бы кости ночами поменьше ломало.

ВЕЧЕРНИЙ АВТОБУС

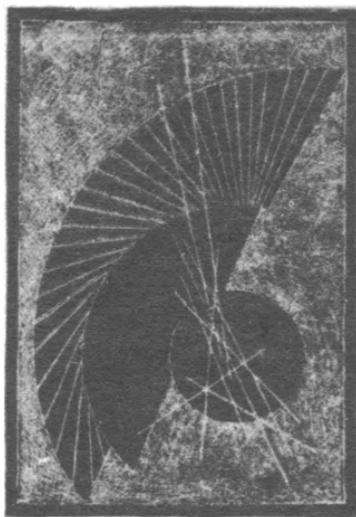
Смирно ждут автобус —
после смены все ведь, —
нехотя готовясь —
нечего поделать —
и к тому, что тесно,
и к тому, что душно
и неинтересно,
а вот так, как нужно.

Двадцать остановок,
тридцать километров
в робах и обновах,
с хрустом карамелек,
с шорохом газетным —
плохо видно только.
Тридцать километров
вытерпим тихонько.

А в окошко тянет
запахами сада.
Может, кто-то встанет:
я, наверно, сяду.
А в окошко веет
запахами леса
и прохладный ветер
расчудесно лезет.

И пионерлагерь
звуки горна тычет,
и последний шлягер
мой сосед мурлычет.

И все чаще, чаще,
и все пуще, пуще
веет запах чащи,
веет запах пуши.
И ночное небо
лезет в дом бегучий,
и спасенья нету
от звезды падучей.



МЕТР ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА

Женский рост — метр восемьдесят два!
Многие поклонники, едва
доходя до плеч,
соображали,
что смешно смотреть со стороны,
что ходить за нею — не должны.
Но, сообразивши, продолжали.

Гордою пленительною статью,
взоров победительною властью,
даже,
в клеточку с горошком,
платьем
выделялась —
к счастью и к несчастью.

Город занял враг
войны в начале.
Продолжалось это года два.
Понимаете, что же означали
красота
и метр восемьдесят два?

Многие красавицы, помельче
ростом,
длили тихое житье.
Метр восемьдесят два,
ее пометя,

с головою выдавал ее.

Есть понятие — величье духа
и еще понятие — голодуха.

Есть понятие — совесть, честь,
и старуха мать — понятие есть.

... В сорок третьем, в августе, когда
город был освобожден, я сразу
забежал к ней. Помню фразу:
горе — не беда!

Ямой черною за ней зияли
эти года два,
а глаза светились и сияли
с высоты метр восемьдесят два.



* * *

Слишком долго здесь держатся холода.
Слишком грозно бушует вьюга.
И поэтому трудно попасть в поезда,
что идут в направлении юга.

Но когда, пройдя весь год по тропе,
заметенной метелью с разгона,
ты окажешься наконец в купе
мчащегося к югу вагона,

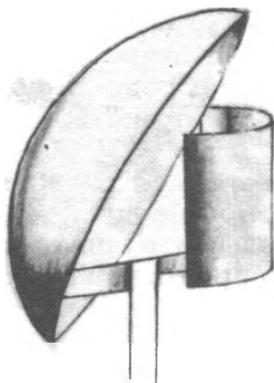
но когда каждый час и каждый стык
движут в сторону теплого моря,
к сумме радостей приближая простых,
удаляя от суммы горя,—

рассовав чемоданы свои и узлы,
рассмотрев законные дали,
понимаешь, что люди отнюдь не злы.
Просто долго отпуска ждали.

Понимаешь, люди к слабым добры
и готовы помочь недужным,
и включаешься в правило славной игры,
именуемой берегом южным.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Я, как писатель, — средний.
Как читатель —
я то прочел, что и Шекспир не смог.
Я знаю то, что Данте невдомек.
Ясней и проще ясного, простого,
что метод мой верней, чем у Толстого,
и глубже оптимизма глубина
и чем у Гоголя,
и чем у Щедрина.
Поэтому я и приму без прений
то обстоятельство,
что я писатель средний.



ТАЛАНТ

Был голосок. Звенело серебро.
О чем? Не важно. Важно, что звенело
то, что Венеру делало Венерой,—
талант. А это благо и добро.

А это — справедливость, совесть, честь.
Любовь к Отечеству, к свободе.
И многое в таком же роде
в таланте (если настоящий) есть.

А звук бездарности? Она глуха.
Как будто алюминиевой ложкой
справляешься с остывшею картошкой.
Ноль целых. Ноль десятых. Чепуха.



В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Этот гений пишет слабо.
Этот гений пишет плохо.
Незаслуженная слава!
Нет, куда ему до Блока!

Пушкин тоже был похлестче,
как нй глянь. Со всех сторон.
Впрочем, есть же две-три вещи,
где он ярок и силен.

Где в порядке исключения,
по ошибке, по большой,
приключилось приключенье
с ним,
 зовомое душой.

В души те он вносит смуту,
кто его хулил, судя:
здесь он прыгнул почему-то
выше самого себя.

СЛОВО «ЗАПАДНИК» И СЛОВО «СЛАВЯНОФИЛ»

В слове «западник» корень и окончание славянофильствуют до отчаянья.

А на слове «славянофил» запад плющ словесный навил.

В общем, логике не уступает,
поддаваться не хочет язык,
как захочет, так поступает,
совершает так, как привык.



КАПЛЯ В ПАУТИНЕ

Паутина в кустах принимает удар
капли,
бухающей
с неба прямо,
и выдерживает
натяжения драму,
будто бы не удар принимает,
а дар.

В самом деле,
все утро играет в лучах
капли,
солнце она
целиком отражает,
всю красу паутины она выражает,
зажигает ее,
словно малый очаг.

Матово паутинное серебро,
но блистательно в нем
серебрение капли,
и, покуда лучи
до конца не угасли,
раздается
всем
солнца большое добро.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПОХОРОНЫ

Никогда так хорошо Дриз не одевался!
Никогда так хорошо Дриз не издавался!
Все издатели стоят с книжками у гроба
и торжественно глядят синими глазами.
А костюм на нем такой, хоть езжай в Европу!
А рыдают все по нем крупными слезами.

Кто с Овсеем выпивал, то есть собутыльники,
кто его переводил, то есть переводчики,
приделись и блестят — новые полтинники! —
выделяясь красотой между всеми прочими.

Я не знаю, зла желал
в мире хоть кому-нибудь
где-нибудь, когда-нибудь
наш Овсей Овсевич.

Знаю, что не делал зла
этот добрый уникам.
Мухи не обидел зря,
уходя отселева.

Прожил хорошо, легко
трудную, тяжелую
жизнь,
а заслужил прожить
несравненно лучшую.

На подушку положив
голову веселую,
успокоился Овсей,
наши речи слушая.

БРАТ ГЛУХОНЕМОГО

Я, как брат глухонемого,
леса яростный язык
выучил: сперва немного,
а потом совсем привык.

Я вчитался в правду жеста
ветки к солнцу — прямиком,
в трепетания блаженство
муравы под ветерком.

Я привык внимать ночами,
в тишине,
с луной сам-друг,
ночи полному молчанью,
прерываемому вдруг,

если загорланит леший
и звезда падет с небес —
вниз, в оглохший,
в онемевший,
в молчаливый,
братский лес.

СЛИШКОМ МНОГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

Снова много жизненного опыта,
может быть, не меньше, чем в войну,
опыта, что тяжелее топота
вдоль тебя,
во всю твою длину.

Многое усвою и запомню.
Многое пересмотрю
во всемирном нравственном законе,
но — покорнейше благодарю!

Возраст — не учебный, а лечебный,
и, напоминая свет свечей,
вечера, заката свет волшебный
смазывает контуры вещей.



Я СЛЕЖУ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

Я слежу за своим здоровьем,
как ловец, упустивший зверя,
только что его проворонив,
ничему на свете не веря —
ни пилюле и ни таблетке,
ни врачу с его порошками.

Только что мой соболь-двухлетка
опрокинул мои капканы.

След простыл моего здоровья,
занесенный с большим успехом
новеньким и пушистым снегом,
ледяной покрытый корою!

От озноба к жару
и снова
в ледовитую зону озноба,
от врача к другому врачу я,
еле ноги таская, кочую.

От отчаяния —
к надежде
с криком радости
и в молчанье,
исчерпав надежду,
не прежде —
в ледовитую зону отчаяния.

Простывает след соболиный,
в руки зверь даваться не хочет,
а бесшумный и журавлиный
поезд
в небесах грохочет.

Я прекрасные планы строю,
утешаюсь большой игрою.
Это — первое.

А второе —
я слежу за своим здоровьем.



НАБРОСОК АВТОПОРТРЕТА

В этот город разнородный
я вписался где-то сбоку:
краснорожий, толстомордый...
Ну и что же — слава богу!

Я привык к твоим уставам,
город!
Знаю: не простят.
Привыкай к моим суставам,
что от старости хрустят.

Я соблюл твои законы.
Ты теперь моя семья.
Мы теперь давно знакомы,
так-то, город, ты и я.

Я деталь твоих пейзажей:
краснорожий, дошлый, ражий.

ЗАШЕДШИЙ РАЗГОВОР

Д. Самойлову

Разговор зашел как гость,
словно в гости гость заходит.
Он зашел и не уходит,
хоть идет и вкривь и вкось.

Он зашел издалека,
и дорога разговора
не проста и не легка.
Он уйдет теперь не скоро.

Не боится он угроз,
женских слез,
чужого толка,
раз уж он
зашел всерьез,
если он
зашел надолго.

Не щадя ночного сна,
даже утренней работы,
выяснит
все доясна,
разрешит он все заботы.

НА ФИНИШЕ

Значит, нет ни оркестра, ни ленты
там, на финише. Нет и легенды
там, на финише. Нет никакой.
Только яма. И в этой яме,
с черными и крутыми краями,
расположен на дне покой.

Торопиться, и суетиться,
и в углу наемном ютиться
ради голубого дворца
ни к чему, потому что на финише,
как туда ни рванешься, ни кинешься,
ничего нету, кроме конца.

Но не надо и перекланиваться,
и в отчаянии дозваниваться,
и не стоит терять лица.
Почему? Да по той же причине:
потому что на финишной линии
ничего нету, кроме конца.

СКЛАДНО!

Отец мой никогда не разумел,
за что за строчку мне
такие деньги платят,
и думал: как он все это уладит?
И как он так сумел?

Но, прочитавши раза три-четыре
стихотворение,
он выходил из мглы
и в смысле, словно в собственной квартире,
шагал,
прекрасно зная все углы.

Как и газетной критике,
ему,
по сути дела, форма ни к чему,
фиоритуры, что я выпевал.
Но содержанью не давал он спуску:
внакладку,
и вприглядку,
и вприкуску
он смысл стиха
не выпивал — впивал.

И только раз, а может, раза два,
побившись над моей строкой балладной,
осиливши ее едва,
мне с одобреньем говорил:
— Ну, складно!

ПОНИМАНИЕ СЛАВЫ

В Эдинбурге — столичке
Шотландского королевства —
я прочел на табличке,
натертой до блеска:
«Не забудьте о Джеке,
скамейку дубовую эту
в девятнадцатом веке
муниципалитету
подарившем,
так же, как четыре другие,
и почившем
в Индии от ностальгии».

Лет сто тридцать скамья
дождалась, в надежде и вере,
что прочту это я,
отдыхая тихонечко в сквере.
Лет сто тридцать табличку
натирали до блеска.
Благодарна столичка
Шотландского королевства!

Это — вечная слава.
А то, что недорого стоит,
пусть волнует нас слабо
и вовсе не беспокоит.
Стивенсон, здесь стоящий,
Вальтер Скотт, здесь стоящий,
удостоились вящей,
но не более настоящей.
Их романы забудут.
Не часто и ныне читают.
На скамейке же будут
отдыхать, как сейчас отдыхают.

Ну и Джек! Он допер,
разорившись едва ли,
чтоб с тех пор до сих пор
вспоминали его на бульваре.
Это ж надо иметь
понимание славы немало,
чтоб бульварная медь
ваше имя навек сохраняла
и чтоб им упивался
всякий, кто на скамейку садился!

Ну и Джек! Не прорвался
к славе, так просочился.



НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАБВЕНЬЯ

Уменье памяти сопряжено
с уменьем забыванья,
и зерно
в амбарах памяти должно
не переполнить кубатуру сдуру.
Забвенье тоже создает культуру.

Запомнил, заучил и зазубрил,
потом забыл, как будто бы зарыл,
а то, что из забвенья вырастает,
то южным снегом вскоре не растает,
то — вечное, словно полярный снег,
то — навсегда
и то — для всех.



МУДРОСТЬ ЯЗЫКА

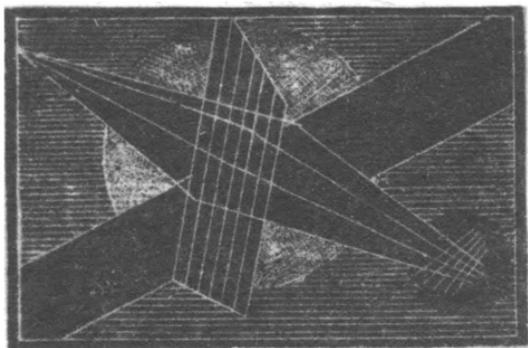
Язык — не дурак. Он знает, что хочет,
и нечего диктовать языку.
Но если закукарекает кочет,
в словарь влетает «кукареку».

Язык расширяется снова и снова,
никто не поставит ему предела,
но право на новое, небывалое слово
имеет лишь новое, небывалое дело.

Понадобилось перешагнуть порог
небес,

чтобы без всяких отсрочек
слово «летун» придумал Блок
и Хлебников чуть поправил:

«Летчик».



ТОВАРИЩ

То он меня — на полкорпуса,
то я его — на полкорпуса,
а все-таки рядом бежим,
и где-то рядом кормимся,
и постепенно горбимся,
и соблюдаем режим,
и на кефир переходим,
и временами обходим —
то я его на полметра,
то он меня на полметра,

и скоро легкого ветра
достанет обоих сдуть,
а мы до сих пор не выявили,
не высказали суть.

Подумаешь! Я ли, вы ли —
мне довольно давно
это все равно.

* * *

Нахал, шарлатан, горлопан,
наш микрорайонный Печорин,
шагающий по головам,
наедине был печален.

Я долго его наблюдал,
когда на него не глядели.
Господь ему счастья не дал,
действительно, в самом деле.

Тяжелой печали печать
уста его начала старить,
как будто привыкли молчать,
а не балагурить, гутарить.

Но только из-за угла
девчонка засемила,
всю гордость с лица согнала
и пошлостью заменила.



ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ОСТАНЕТСЯ

Как мы все ему смотрели в рот!
Как жалели, что он рано старится!
Несколько метафор и острот
от него действительно останется.

Впрочем, может, больше и не надо.
Несколько метафор, как гранаты,
грянули, эстетику снеся.
Несколько острот подрастсмешили,
а потом разворотили
и преобразили
всё и вся.



КТО ЗА ЧТО

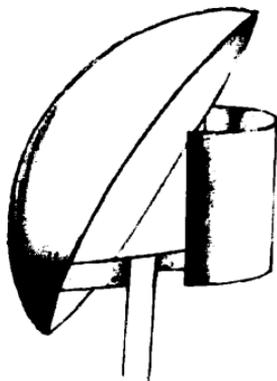
Пьются тосты за все хорошее,
кто и как понимает его.
С этой красною пьяною рожею
не желаю делить ничего.

Пьем и в рюмки друг другу поглядываем:
он — ко мне. Я — к нему.
И довольно точно угадываем,
кто за что
пьет
и кто — почему.

И с попойкой нерасторжимое,
резиновое, растяжимое,
многозначное слово Добро
нам подмигивает хитро.

ПОПУЛЯРИЗАТОР

Древние секреты выдает,
старенькие тайны раскрывает,
пользу человечеству дает
и себе зарплату отрывает.
А студенты, хмурые заочники,
не имея на первоисточники
времени,
загружены, понуры
от сумятиц и неразберих,
тонкие штудируют брошюры,
вечность познают из рук вторых.



ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ

Товарищи и начальники
не уважали его,
но это его не печалило:
ништо, говорил, ничего!
Ништо! — говорил. — Обойдется.
Всему свой день, свой час.
Еще у вас найдется
и уваженье для нас.

И вот под самую старость
незнаемо почему
уваженье досталось —
целый кусок ему.
Он проходит по улице
сквозь вечернюю тьму.
Все кланяются, кланяются,
кланяются ему.

И все недоразумения
выяснились, утряслись,
и все прекрасного мнения
о том, как он прожил жизнь.
Бывшие недоброжелатели,
забывши неправый суд,
словно друзья и приятели
руки ему трясут.

ВОТ ЕЩЕ!

Старые мужья со старой песнею,
будто нету лучших тем,
старые мужья гордятся тем,
как они выслуживали пенсию.

Старые мужья,
бия
в грудь свою,
седую и худую,
говорят: война, а я не дую
в ус!
И вновь: и я! И я! И я!

Старые мужья идут на рать.
Старым женам пенсий не положено.
Разговаривая по-хорошему,
надо все сготовить и убрать.

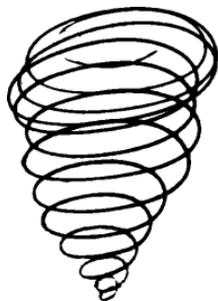
Надо дом вести,
и в том числе
этого сердитого, сварливого,
переваливающегося по земле,
охающего
и почти счастливого.

Старая жена через плечо
кротко молвит: «Вымыл бы посуду!»
«Что? Посуду? Ни за что не буду.
Выдумала, вот еще».

УНИЖЕНИЕ ВО СНЕ

Унижали во сне.
Сколько раз засыпал,
столько раз просыпался от негодованья:
за меня в сновиденье не много давали.
Ну, я думал, дела!
Ну, я думал, попал!

Я бы этого не допустил наяву!
И, униженный, я просыпался в надежде:
ни за что!
Никогда!
Сколько ни проживу!
Но едва засыпал,
унижали, как прежде.



ПЕС ЗА ЗАБОРОМ

Не видя, но ненавидя,
как за забором пес,
он в наилучшем виде
облаял меня, понес.

Моталась цепная злоба,
тяжелой цепью звеня.
Не видя — глядела в оба,
облаивала меня.

Облаивала, обливала
презрением через забор,
горела и не истлевала,
наверно, горит до сих пор,

и лютостью светит властно,
и в сердце лелеет месть.
У ненависти заглазной
своя инерция есть.

О как ему горько, тесно!
О, сколько со мною дел!
А мне даже интересно,
что, если бы он поглядел,

что, если бы он увидел,
хоть раз бы увидел меня?
Неужто бы ненавидел,
тяжелой цепью звеня?

* * *

Человек умирает дважды.

Сначала в своей постели
или в чужом окопе.
Окончательно он умирает
в памяти своего врага.

Усыхает нервная клетка
и смывается кровью струпик,
в котором хранилась память
о нем, о ненавистном.

Все. Последний конец кончины.
Окончательное досвиданья.
И не помянут даже лихом.



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ РОСТ

Соломенная вдова,
коломенская верста
проговорила слова,
придуманные спроста:

— За что он бросил меня?
За что он ушел к другой?
Не вижу белого дня.—
И слезы смахнула рукой.

Стояла, как перпендикуляр,
как тополь или как столб,
а взор бесшумно гулял,
а грудь издавала стон.

— За что он бросил, за что? —
Ну кто ответит на то?
Никто, конечно, никто
не знает, как и что.

— Пойду, сказал, беду
руками разведу.
Ведь платят по труду.
Обиды я не жду.

Запомнилась такой,
бредущей поутру,
качаемая тоской,
как мачта на ветру.

КУЗЬМИНИШНА

Старуха говорит, что три рубля
за стирку — много.

И что двух — довольно.

Старуха говорит, что всем довольна,
родила б только хлебушко земля.

Старуха говорит, что хорошо
живет

и, ежели войны не будет,
согласна жить до смерти.

Молоко

с картошкой

пить и есть в охотку будет.

Старуха говорит, что над рекою
она вечер слыхала соловья.

— Поцелкал, и всю хворь
сняло рукою.

Заслушалась,

зарадовалась я!

СЕМЕЙНАЯ ССОРА

Ненависть! Особый привкус в супе.
Суп — как суп. Простой бульон по сути,
но с щепоткой соли или перцу —
даром ненавидящего сердца.

Ненависть кровати застилает,
ненависть тетради проверяет,
подметает пол и пыль стирает:
из виду никак вас не теряет.

Ничего не видя. Ненавидя.
Ничего не слыша. Ненавидя.
Вздрагивает ненависть при виде
вашем. Хвалите или язвите.

А потом она тихонько плачет,
и глаза от вас поспешно прячет,
и лежит в постели с вами рядом,
в потолок уставясь долгим взглядом.

ТИРАДА ПО ТЕЛЕФОНУ

— Я тебя ни грамма не люблю,
не боюсь тебя ни граммочки
и на километр не подпущу —
убирайтесь к вашей дамочке.

Первый ты меня забыл,
а теперь и я тебя забыла,
позабудь навеки тот забор,
до которого с тобой ходила!

Выбрось телефон из головы!
Навсегда, навеки мы на «вы».



* * *

Хороша ли плохая память?
Иногда — хороша.
Отдыхает душа.
В ней — просторно. Ее захлупить
никому не удалось,
и она, отрешась от опеки,
поворачивается, как лось,
загорающий на солнцепеке.

Гулок лес. Ветрами продут.
Березняк вокруг подрастает.
А за ней сюда не придут,
не застанут ее, не заставят.
Ни души вокруг души,
только листья лепечут свойски,
а дела души — хороши,
потому что их нету вовсе.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

Чуть больше, чем ничего,
чуть меньше, чем ничего,
собственно, для чего?
Никак не пойму ничего.

Вот если бы сразу все
(и это еще не все),
а так ни то ни се,
а надо — и то и се.

И я не знаю как,
и пробую так и сяк.
Когда не выходит так,
я снова пробую так.

И кем бы я ни кажусь,
но я не откажусь
и не отдам ничего:
все или ничего.

ВЕЗУЧАЯ КРИВАЯ

Приемы ремесла
с годами развиваю.
Но главное — везла
и вывезла кривая.

Отборнейших кровей,
зазорнейшего ритма,
она была кривей,
извилистей, чем кривда.

Но падал на орла
любой пятак мой медный,
когда она везла
дорогою победной,

когда быстрее коня,
скорее автомобиля
она везла меня
и все куранты били.

Она прямой прямой,
она правее права,
и я вернусь домой
по кривизне той
прямо.

НОЧНЫЕ СТУКИ

Мне показалось, что кто-то стучится.
В дверь или в душу —

понять я не мог.

Тотчас я встал и пошел за порог.
Пусто, и только вселенная мчится.
Мчится стремглав и сбивается с ног.

Звезды, сшибаясь на страшных рысях,
вдруг издают глуховатые звуки?
Или планеты скрипят на осях?
Или, по данным последним науки,
что-нибудь, как-нибудь, так или сяк?

Все-таки это, наверно, не в небе.
Все-таки это, наверно, в душе.
Кто-то стоит на моем рубеже
и осторожно, в печали и гнев,
тихо и грозно стучится:

«Уже!»

Это как Жанны д'Арк голоса:
определяют,
напоминают,
будто бы тихо и грозно роняют
капли — не наземь —

в тебя небеса.

Или листву отрясают леса.

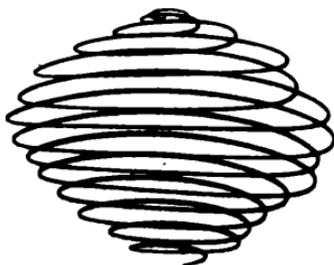
Я на холодном крыльце постоя,
противоставлю молчанье вселенной
шороху, шуму,

обвалу велений,

что завалили душу мою.

Вспомню, запомню и не утаю,

как он пришел, этот шелест и шепот,
перерастающий в гул или гром,
за целый век береженным добром,
как упразднил весь мой жизненный опыт,
что за вопросы поставил ребром.



СОДЕРЖАНИЕ

Сон об отце	3
Столько лет не встречались	5
Запланированная неудача	6
В самом конце войны	7
Легкая профессия	8
Давай пойдем вдвоем	9
Младшим товарищам	10
Жилы	11
«Молчащие полжизни промолчат...»	12
Любимая обида	13
Несмотря ни на что	14
«Мой батальон — четыреста парней...»	15
Командиры	16
«А в общем, ничего, кроме войны!...»	18
Домой!	19
Отбор по удвоенности	20
Гонки	22
Деревня и город (Начало 30-х)	23
Величие души	24
Концерт в глубинке	25
Слово и понятие «свобода»	26
Лирики и физики	27
«Экзаменатор экзаменовал...»	28
Мои молодые товарищи	29
Кульчицкий	31
Воспоминание о Павле Когане	32
«Журчит рассказ...»	35
Ограниченное доверие судьбе	36
«Человечество — смешанный лес...»	37
Каждый день	38
Помета под стихотворением	40
«...Это все прошло давно...»	41
Выбирающий путь	42
Не за себя прошу	43

Старость	44
Сестры	45
Уходящее время	46
Память старых женщин	47
Старуха — старику	48
Внезапное воспоминание	49
Игра в кирпичи	50
Рука в руке	51
Знакомство с незнакомыми женщинами	53
Желанье поестъ	55
Парадные лестницы и пожарные лестницы	56
Внезапно	57
Большая тренировка	58
Рука и душа	59
Слава	60
Как вагон	61
Черный перечень	62
«Опровергнув ругательства гения...»	63
Постановление зеркал	64
Решка	66
Слово на камне	67
Переводы	68
Профессиональная надменность	69
Дожить до рассвета	70
Категории прекрасного	71
«Недостойно бежит старичок...»	73
Самое интересное будущее	74
Целая неделя	75
Первый день	76
Крылья Конева	77
Волокуша	79
«Память вдовы. Память старухи...»	80
«Не могу заснуть на левом боку...»	81
Профессиональное раскаяние	82
Давно прошедший год	83
Завершение	84

Равнодушие к футболу	85
Мелочь под ногами?	87
Неужели?	88
«Становлюсь похожим на деда...»	89
Палата	90
Возвращение	92
Харьковский Иов	93
«Объединенная с Офелией...»	95
Городская старуха	96
Вечерний автобус	97
Метр восемьдесят два	99
«Слишком долго здесь держатся холода...»	101
Самоопределение	102
Талант	103
В порядке исключения	104
Слово «западник» и слово «славянофил»	105
Капля в паутине	106
Оптимистические похороны	107
Брат глухонемого	108
Слишком много жизненного опыта	109
Я слежу за своим здоровьем	110
Набросок автопортрета	112
Зашедший разговор	113
На финише	114
Складно!	115
Понимание славы	116
Необходимость забвенья	118
Мудрость языка	119
Товарищ	120
«Нахал, шарлатан, горлопан...»	121
То ли решать, то ли тянуть	122
Что же все-таки останется	123
Кто за что	124
Популяризатор	125
Перемена судьбы	126
Вот еще!	127

Унижение во сне	128
Пес за забором	129
«Человек умирает дважды...»	130
Баскетбольный рост	131
Кузьминишна	132
Семейная ссора	133
Тирада по телефону	134
«Хороша ли плохая память?..»	135
Все или ничего	136
Везучая кривая	137
Ночные стуки	138

БОРИС АБРАМОВИЧ СЛУЦКИЙ

СРОКИ

М., «Советский писатель», 1984, 144 стр.
План выпуска 1984 г. № 223

Редактор **В. С. Фогельсон**
Худож. редактор **Д. С. Мулкин**
Техн. редактор **Т. С. Казюкская**
Корректор **Л. М. Вайнер**

ИБ № 4323

Сдано в набор 03.02.84. Подписано к печати 30.05.84.
А 02486. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Журнальная
гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 6,30.
Уч.-изд. л. 4,66. Тираж 50 000 экз. Заказ № 88. Цена 55 коп.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по делам
издательства, полиграфии и книжной торговли, 300600,
г. Тула, проспект Ленина, 109

55 коп.

